

Семейная идиллия

Category: Goşgular, Kitapcy

написано kitapcy | 25 января, 2025

Семейная идиллия СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ

I. Вступление

Ужель нельзя писать, забыв хотя на миг
Про то, как пишутся новеллы и романы,
Отвергнув, наконец, условные обманы
Ненужных вымыслов и спутанных интриг?
Ужель изобразить мне легче смерть и муку
Героев, гибнущих в невиданном бою,
Чем разговор с женой и комнату мою,
Унылый вид в окно и будничную скуку?
А между тем из них, из этих мелочей,
Забытых книгами и слишком некрасивых,
Чтоб их рассказывать в строфах красноречивых,
Слагается вся жизнь, простая жизнь людей.
И мысль одна давно мне не дает покоя:
Нельзя ли без интриг, без драмы, без героя
Перенести в рассказ из жизни целиком
Тот маленький мирок, с которым я знаком?
Мне было жаль срывать живой и благовонный
Цветок, чтоб положить в гербарий запыленный;
Из недр родных полей заботливой рукой
Я вырежу его с дрожащими листьями —
Таким, каков он есть — с пахучею землею,
И каплями росы, и влажными корнями...

II. На даче под Москвою

Бранят наш Петербург, наш Север, а меж тем
Что может быть скучней деревни подмосковной!
Страна фабричная: я сам не знаю, чем
Мне здесь противно все, — уныло, плоско, ровно...
Сквозь вырубленный лес, среди бесплодных нив,

По рельсам блещущим гремит локомотив.
А в селах – кабаки, огромные заводы,
Рабочий пьяный люд: здесь больше нет природы.
И вечно к небесам возносятся клубы
Фабричной копоты, и силуэт трубы,
Царящий надо всем, мне портит голубую
Таинственную даль, печальную, родную...
Должно быть, этот край недаром угнетал
Наш современный бог, могучий капитал!
А между тем и здесь, в прогулке одинокой,
Зайдешь, бывало, в глушь: кругом лесная мгла,
Зеленый мох, грибы, мохнатая пчела,
А небо меж ветвей так ясно, так глубоко,
Что чувствуешь себя от всех людей вдали,
В деревне под Москвой, как на краю земли.
Довольно двух иль трех деревьев, чтоб понятной
Нам сделалась вся жизнь природы необъятной:
Так двух иль трех людей довольно, чтоб познать
Все бездны темные души, весь мир сердечный
С его поэзией, любовью бесконечной
И всем, чего нельзя словами рассказать...

III. Бабушка

Но приступить давно пора к моей задаче.
Хотел я описать, без вымысла, одну
Семью, с которой жил я некогда на даче,
В деревне под Москвой. Я с бабушки начну.
Когда-то и она хозяйкой домовитой
И матерью была, и любящей женой;
Теперь, чужая всем, она в семье родной,
Как призрак дней былых, живет почти забытой.
Есть что-то строгое в чертах, как будто след
Невзгод пережитых; она одета просто;
Согнувшись, сгорбившись – почти такого роста,
Как внучка младшая – одиннадцати лет,
Не помнит бабушка, что было с ней – ни муки,

Ни радости: она как в полусне живет.
Сидит на сундучке и целый день от скуки
Ест кашку манную да чай в прикуску пьет;
Порой по комнатам чего-то ищет, бродит,
Храня заботливый и недовольный вид,
И, думая, что в дверь отворенную входит,
У открытых шкафов задумчиво стоит.
«Куда вы, бабушка?» — кричат ей, но слепая
Предмет ощупает тихонько, не спеша,
Потом уйдет, вздохнув, платок перебирая
Худыми пальцами и туфлями шурша.
И пахнет табачком от кацавейки длинной,
От рук морщинистых, — так пахнет иногда
В шкатулках дедовских, где многие года
Таится аромат под крышкою старинной...
Порою бедная, подняв упорный взгляд,
Речам живых людей с усилием долго внемлет,
Ей хочется понять, но скажет невпопад
И вновь беззубым ртом жует и будто дремлет.
Как малое дитя, она глядит на всех
С недоумением и робостью послушной,
И у нее такой бессильный, добрый смех,
Просящий жалости, как будто простодушно
Старушка над собой смеется, и порой
Я думаю: зачем жила она, любила,
Страдала? Где же цель всей жизни прожитой?
И вот, что всех нас ждет, а впереди — могила.
Осталось ей одно: с корзинкою грибов,
Бывало, девочки усталые вернутся,
«Где, родненькие, где?..» — на звук их голосов
Слепая ощупью бредет. Они смеются,
Обняв ее... Едва их голос прозвенел,
Старушка ожила, и взор не так печален,
Как будто золотой луч солнца заблестел
На сумрачных камнях покинутых развалин...
В слепые бедные глаза, в беззубый рот
Губами свежими ее целуют внучки, —

Веселью нет конца, – и маленькие ручки
В дрожащую ладонь, смеясь, она берет.
И рядом с желтой, пергаментною кожей
Поблекшего лица лукавый блеск в очах,
И смех, и ямочки на розовых щеках
Мне кажутся еще прекрасней и моложе.
И кротко светится бессмертная любовь
В глазах у бабушки. Так вот – чего могила
У нас не может взять!.. И мне понятно вновь,
Зачем она жила, зачем она любила.

IV. Тетя Надя

А все же бабушка от внучек далека,
И смотрят девочки на бедную старушку
Так снисходительно, немного свысока,
Как на старинную, любимую игрушку.
Душою близкий к ней и преданный навек
Остался на земле один лишь человек –
То тетя Надя, дочь старушки...

.

Говорят,
Она красавицей была. Теперь некстати
Еще кокетлива; в дырявых башмаках
И с заспанным лицом, и скукою в глазах,
Всегда растрепана, в замаранном халате,
Она по комнатам блуждает. В пустоте,
В которой жизнь ее проходит, сплетни с прачкой,
Забота, чтоб вскипел кофейник на плите,
Прогулка в лавочку за нитками, за пачкой
Каких-то пуговиц, пасьянс, потом еда,
И сон, и штопанье чулок, – вот все занятия.
И так влачит она недели и года...
Порою шьет она причудливые платья
Из кружев, пышных лент и ярких лоскутков –
Приманка жалкая, соблазн для женихов.
А чаще попросту, сложив покорно руки,

На крышу, на ворон глядит в окно от скуки
И только медленно, зевая, крестит рот.
А рядом, на софе, лежит сибирский кот –
Пушистый, с нежными прозрачными глазами,
Как изумруд – но злой и с острыми когтями.
Лампадка теплится пред образом в тиши...
Так много лет вдвоем вдали от мира жили
Старушка, серый кот и тетя. В нем души
Они не чаяли, но, верно, обкормили
Любимца жирного, и бедный кот издох.
Все счастье тетеньки его последний вздох
Унес навек. С тех пор пустая жизнь без дела
Еще печальнее. Но я подметить мог
И в ней один святой, заветный уголок:
Холодная ко всем, любовью без предела,
Ревнивой, женскою она любила мать;
И днем, и ночью с ней, – умела разговором,
Картинкой, лакомством иль просто нежным взглядом
Старушку, как дитя больное, утешать.
И кто бы ни дерзнул обмолвиться намеком,
Что память бабушки слабеет, в тот же миг
Вся вспыхнет тетенька, и нет конца упрекам,
Уйдет из комнаты, поднимет шум и крик, –
Ей верить хочется, что бабушка такая,
Как все, и умная, и даже не слепая.
Старушка для нее – не призрак дней былых,
Как для семьи, а друг – живой среди живых.
Два бедных существа, отживших, одиноких,
Не нужных никому и от людей далеких,
Друг друга с нежностью любили, и вдвоем
Отрадней было жить им в уголке своем.
Когда же бабушка умрет, никто не будет
О бедной горевать: лишь тетенька над ней
Поплачет искренно и друга не забудет –
Едва ли не одна из всех живых людей.
И здесь, и в пошлости глубоко прозаичной,
Есть жертва, есть любовь, ее тепло и свет!..

.
.

V. Крокет

Я слышу голосок голубоглазой Наты:
«Хотите в крокет?» – «Да!» Мы в сад уходим. День
Склоняется. Длинней берез плакучих тень,
Сильнее в парке лип цветущих ароматы.
Люблю я звонкие, тяжелые шары
И простодушие семейственной игры.
Люблю квадрат земли, песчаный, желтый, плоский –
На зеленеющих под липами лугах,
Люблю то красные, то черные полосы –
Условные значки на крокетных шарах.
Смеются девочки: у них одна забота –
«Крокировать» меня за тридевять земель,
Чтоб вместе выиграть, и в тесные ворота
Прносятся шары, и вот уж близко цель...
Слежу с улыбкою, как худенькая Ната
Кричит и прыгает, волнением объята.
В ней все – порыв, огонь... А старшая сестра
Тиха, безропотна, ленива и добра.
Вся жизнь их общая, но все в них так различно.
Они друзья, меж тем я наблюдал порой,
Как младшая царит и правит деспотично
Румяной, толстою, покорною сестрой,
Здоровой Татою. По робким выраженьям
Взаимной нежности, по взглядам и движениям
могу предугадать две разные судьбы:
Без мук, без гордых дум одна из них, наверно,
Спокойно проживет хозяйкою примерной,
Счастливой матерью. Другая – для борьбы,
Для горя создана. Я вижу в ней задаток
Страданья долгого, тех вечных, горьких дум,
Что в наши дни томят неверующий ум;
И жизни внутренней глубокий отпечаток

Таится в голубых мечтательных глазах
И бледном личике... Так с грустью бесконечной
Люблю грядущее обдумывать порой,
Когда идут они, обнявшись, предо мной
Под сумраком берез аллеи вековой,
И Тата «пеночкой» сестру свою зовет...
Люблю их комнатку, с игрушками комод,
Бумажные дома и куклы из резинки.
Когда же на столе кипящий самовар
Над чайником струит голубоватый пар, –
Люблю раскрашивать наивные картинки:
Румяных девочек, зеленые леса...
Бывало, кисточку я обмокну неловко:
И с пятнами воды выходят небеса,
Расплывшись, дерево сливается с головкой
Несчастной девочки. И пальчиком грозит
Мне Тата кроткая. Всю прежнюю отвагу
Теряет кисть моя; а Ната мне кричит
В негодовании: «Испортили бумагу!..»
Когда же загляну им в глубину очей, –
Какие бы мечты мой ум ни волновали,
Мне сразу так легко, я чище и добрей,
И утихают все тревоги и печали...
И что-то чудное мерцало мне не раз,
Непостижимое, как тайна звезд далеких,
И все же близкое из этих детских глаз,
Подобно небесам, безгрешных и глубоких.

VI. Бури в стакане воды

Услышав крик и шум семейной, бурной сцены,
Я голос тетеньки и Даши узнаю,
Почтенной нянюшки, и в комнату мою
Порой доносится сквозь тоненькие стены
Ожесточенный спор. За съеденный калач,
За сломанный стакан, горшочек манной каши –
Вся ярость тетеньки и озлобление Даши,

Весь этот ад, и крик неистовый, и плач.
Так в кухне каждый день у них едва не драка.
Но тетя на свою противницу глядит,
Храня презрительный и величавый вид,
А Даша – вне себя, она – краснее рака...
Неутолимая, смертельная вражда:
Как много хитростей им нужно и труда,
Чтоб уколоть врага, чтоб чем-нибудь обидеть!
Так только женщины умеют ненавидеть.
С душою деспота, когда бы не жила
В России нянюшка, а в Риме, в век античный,
Она бы сумрачным Тиберием была
Иль грозным Клавдием. Но в век наш прозаичный
Ее владычества не признают. Меж тем
Ей хочется в семье царить и править всем.
И в кофте ситцевой, с надменными губами,
И острым носиком, и хитрыми глазами,
Проворная, как мышь, но с важностью лица,
По дому бегают, хлопочет без конца,
На взрослых и детей кричит, дает советы...
Пророческие сны, народные приметы,
И новости газет, и жития святых,
Секреты кушаний и сплетни о родных,
Рецепты всех лекарств и тайны всех настоек –
Скрывает ум ее, находчив, смел и боек.
И Даша, в нянюшках лет тридцать прослужив,
С любовью в памяти хранит благоговейной
Преданья старины и хроники семейной, –
Житейских случаев – она живой архив.
Расскажет вам о том, как Тата на крестинах
Папаше крестному испортила халат,
И был ли с кашею пирог на именинах
Или с вязигою лет шесть тому назад.
Порой случается, что няня глупой сплетней
Иль даже дерзостью хозяйку оскорбит.
«Я вам даю расчет!..» – ей барыня кричит
В негодовании. Но Даша безответней,

Смирней овечки вдруг становится. В слезах
У доброй госпожи валяется в ногах,
Целует руки ей, и кается, и молит,
Пока ей барыня остаться не позволит.
Тогда, свой прежний вид обиженный храня,
Начнет она мести и чистить мебель щеткой,
И моет все полы, и делается кроткой
И добродетельной, но только на два дня.
Потом не выдержит, и снова – крики, споры,
И жажда властвовать, и прежние раздоры.
Что делать? Жить она не может без семьи:
Она исчахла бы от грусти одинокой
Без тех, с кем ссорится всю жизнь, полна глубокой,
Но скрытой верности и преданной любви.
Одни лишь девочки ей дороги на свете:
И ненавистна всем, презрительна и зла,
Она всю нежность им, всю душу отдала.
И «нянечку» свою недаром любят дети:
Я знаю, злобные, надменные черты
И хитрые глаза становятся добрее, –
Как будто в отблеске духовной красоты, –
А руки жесткие любовней и нежнее,
Когда детей она в уютную кровать,
Крестя с молитвою, укладывает спать.
Опустит занавес, поправит одеяло,
Посмотрит издали в последний раз на них,
И этот взор любви так светел, добр и тих:
«Она не злая, – нет!» – подумаешь, бывало.

VII. Мама

Она – не модный тип литературной дамы:
«Сонату Крейцера» не может в пять минут
Подробно разобрать и автора на суд
Привлечь, и заключить: «Я здесь не вижу драмы!...»
Не режет в перламутр оправленным ножом
Изящные листы французских книг Лёмерра

И не бранит, гордясь критическим чутьем,
Столь непонятого для русских дам Флобера;
И в светской болтовне, как будто невзначай,
Ни мыслью книжною, ни фразой либеральной
Не думает блеснуть, и, разливая чай,
Не хвалит Paul Bourget с улыбкою банальной...
В лице глубокая печаль и доброта,
Она застенчива, спокойна и проста,
И, вместо умных книг, лишь предана заботе
О кашле Наточки, о кушанье, дровах,
О шубках для зимы — об этих мелочах,
Что иногда важней серьезных дел. В капоте
Домашнем, стареньком, наружностью своей
Не занимается и хочет некрасивой
И старше лет своих казаться: для детей
Она живет. Но я считал ее ленивой
И опустившейся. Я помню, иногда
Они к ней прибегут: «Пусти нас на качели!»
Но мама много раз клялась, что никогда
Не пустить, а меж тем, они достигнут цели.
«Родная, милая!..» и, наконец, она
Уступит, ласками детей побеждена,
Хоть слышать, бедная, не может хладнокровно,
Как подозрительно скрипят гнилые бревна.
При первой шалости детей она опять
Прибегнуть к строгости решается, горюет,
Что портит девочек, что слишком их балует,
И все-таки ни в чем не может отказать.
Она казалась мне такой обыкновенной,
Такою слабою... Потом я видел раз
Ее в несчастьи: я помню, в трудный час,
Почти веселая, с улыбкой неизменной,
Она была еще спокойней. В эту ночь
Лежала при смерти ее родная дочь.
Я чувствовал, что смерть подходит к изголовью
Любимой женщины... Со всей моей любовью
Я был беспомощен и жалок, как дитя.

А мать легко, без слез, как будто бы шутя,
Что нужно делала и что-то говорила
Простое, нежное... На выражение глаз,
На кроткое лицо взглянув, — какая сила
У этой женщины, я понял в первый раз.

VIII. Проза любви

О беззаботная, влюбленная чета!
Что может быть милей? Вы думаете оба,
Что жизнь — какая-то воздушная мечта,
Что будут соловьи вам песни петь до гроба?
Но ведь придется же заказывать обед,
С какой бы высоты на жизнь вы ни взглянули, —
Не меньше страстных клятв необходим буфет,
Белье и утюги, лоханки и кастрюли —
Эмблемы вечные супружеской любви.
Попробуйте пожить вдвоем, — увянут розы,
Потухнет свет луны, умолкнут соловьи
Под дуновением неумолимой прозы...
Бывало, с нежностью, поникнув головой,
Шептала ты «люблю», когда звезда в эфире
Струила тихий свет, а ныне... Боже мой!..
«Куда девался рубль и пятьдесят четыре
Копейки?» — юная хозяйка говорит,
Над счетной книжкою приняв серьезный вид.
Увы! таков наш мир... Но хуже всякой прозы —
Упреки в ревности, домашняя война
За первенство, за власть, и сцены, крики, слезы:
«Не хочешь ли гулять?» — мне говорит жена. —
«Я занят, не мешай!» — и мы не в духе оба...
Хандра, расстройство нерв... Из этих пустяков
Выходит глупый спор: предлог уже готов;
В душе — холодная, мучительная злоба.
И мне чрез полчаса, как злейшему врагу,
Жена в отчаянье кричит: «Меня ты губишь...
Уйди... оставь!.. Я жить с тобою не могу!..»

А я в ответ: «Теперь я знаю: ты не любишь!»
И грубые слова, и хлопанье дверей...
А Булька серая, любимый мопс, меж нами
В тревоге бегают, как между двух огней,
И смотрит умными, печальными глазами.
Не правда ль, ты жене весь мир отдать готов,
А кресла мягкого иль книги не уступишь;
Ей счастье на земле ценою жизни купишь,
А не простишь двух-трех пустых обидных слов.
Но тяжелей всего – болезнь: какая мука,
Едва заметив жар, в тревоге пульс считать,
Способность потеряв работать и читать,
И думать. А в душе – томительная скука...
Поставишь градусник, и страшно заглянуть
На цифру, и следишь, тревогою объятый,
Веселым притворясь, как медленная ртуть
Все подымается, и от одной десятой
Проклятых градусов – я чувствую порой –
Зависит жизнь моя, и счастье, и покой...
О, как вы далеки, таинственные встречи
И первая любовь, и безотчетный страх,
Признание робкое в потупленных очах,
И торопливые, взволнованные речи!..
Вы не вернетесь вновь: простите навсегда!
Но как ни дороги утраченные грезы,
Я знаю: в пошлости, среди житейской прозы
И будничных забот, и скучного труда –
Все крепче с каждым днем, все глубже и сильнее
Моя печальная, спокойная любовь:
Нет, я бы не хотел, чтоб сделалась ты вновь
Такою, как была: ты мне еще милее!
Теперь – пред силою любви моей простой,
Пред этой жалостью друг к другу бесконечной –
Нам кажется почти ребяческой игрой
Тот первый сон любви неопытной, беспечной!..

IX. Отъезд с дачи

Осенний день. В лесу — все мертвенно и пышно:
Ни томной иволги, ни зябликов не слышно.
И как в дому, людьми покинутом, полна
Чего-то грустного лесная тишина.
Порой волнуются дрожащие осины,
И солнце заблестит, и листья зашумят,
Как в летний день, но миг — и желтые вершины
Вновь успокоятся и сразу замолчат.
Не пролетит пчела над цветником унылым,
В аллеях падают увядшие листья
И блещут в сумраке, подобно златокрылым
Июльским бабочкам. Как алые цветы,
Два мертвых листика трепещут и краснеют
На голых сучьях. Дождь и карканье ворон,
Солома влажная на избах, небосклон
Туманный... озими лишь ярко зеленеют.
На даче холодно, и потолок течет,
И печки скверные дымят, из окон дует,
И даже булочник возить перестает
Свой хлеб, и тетенька на скуку негодует...
В тревоге девочки, — в гимназию пора.
Из ранца вынули учебник запыленный
Сегодня свой урок твердят они с утра:
Знакомый переплет, оборванный, зеленый,
С воспоминанием о страшных, злых глазах
Учителя, опять на них наводит страх.
«Лакедемоняне в бою при Фермопилах...» —
Выводит Таточка унылым голоском,
Зевая, морщится и лижет языком
Свой пальчик розовый, запачканный в чернилах.
Но вот уж ломовой приехал. На возу
Навален всякий хлам: там сундуки, игрушки,
Ногами вверх столы, матрацы и подушки,
И клетка с петухом у кучера внизу,
А в самой вышине, как символ дома, яркий
Блестит самовар в объятьях у кухарки.
И с высоты кричит она вознице: «Эй,

Смотри-ка, моего корыта не разбей!»
Собака, хвост поджав, должно быть, в мыслях грустных,
Сидит: увы! пора голодная придет,
Не будет ей костей, не будет корок вкусных.
А дворник, шапку сняв, двугривенного ждет.
С бутылкой молока, закупоренной тряпкой,
Одета в серенький поношенный бурнус,
Но с очень яркою, оранжевою шляпкой,
С подвязанной щекой (осенний дачный флюс),
Хлопочет тетенька и между двух картонок
В коляску бабушку старается втолкнуть.
Слепая, бедная старушка, как ребенок,
Покорна. Все теперь готово. С Богом – в путь!
Но Даша сердится и хочет верх коляски
Поднять: «Что если дождь? не думает никто
О детях!..» В шарфы, плэд, потом башлык, пальто
Она их кутает. Им душно: только глазки
Блестят... Поехали. Уж церковь – за холмом,
Вот роща, где грибов так много, вот паром...
Вдруг тетенька кричит в отчаянье: «Забыла!..
Ах, Боже мой, назад!.. Забыла башмаки!..
Я сбегая: ведь здесь – недолго... пустяки!..»
Но Даша, полная воинственного пыла,
Вступает в спор, – она ликует больше всех,
Злорадствуя... И крик, и шум, и общий смех...
С улыбкой Таточка на все глядит практично,
И ей на даче ли, в Москве ли – безразлично.
Из хрестоматии французской наизусть
Твердит она урок. А Нате жаль природы,
Прогулок и грибов, и солнца, и свободы!
В задумчивом лице – недоуменье, грусть,
Как будто бы вопрос, зачем в глубокой думе
Так сумрачен и тих – там, на краю небес –
Волшебно-золотой и все же мертвый лес,
Зачем уныние – в поблекшем поле, в шуме
Осенних непогод, и в тучах, и во всем?..
Сердечко бедное в ней чутко встрепенулось, –

Кто знает, может быть, предчувствие проснулось
Того великого, что смертью мы зовем?..

Х. Читателю

Мне страшно на лицо читателя взглянуть:
«Где собственно герой, завязка, в чем же суть?
И как печатают серьезные журналы
Подобный вздор!.. Какой упадок небывалый!..»
Минутку погоди, мой строгий судия,
Не горячись: ты прав! Мы — слабы, мы — ничтожны.
Все эти новые поэмы — невозможны;
В них скука царствует! Но разве жизнь твоя,
Читатель, веселей? Ты умываешь руки
Во всем, но кто, скажи, виновник этой скуки,
Упадка, пошлости и прозы наших дней?
Ты ропщешь, а меж тем всю жизнь тебя нимало
Родной поэзии судьба не занимала.
Что книги!.. Для тебя отрадней и милей
Партнер за карточным столом, да оперетка!
Ты любишь фельетон забавный пробежать,
И если шуточка довольно зла и метка,
Привык ты гаэру газетному прощать
Всю пошлость. Ты не прочь от модного скандала,
И надо дерзким быть, чтоб угождать тебе...
Но что ты любишь? Чем душа твоя страдала?
Когда ты жертвовал, кому, в какой борьбе?..
С умом расчетливым, с душой неверной, зыбкой,
И с этой вечною, болезненной тоской,
И с этой мертвою, скептической улыбкой, —
Вот он, наш судия, читатель дорогой!..
Смотри: мы — казнь твоя, мы — образ твой. Меж нами
Есть непонятная, невидимая связь.
Ты знаешь: до сих пор она не порвалась, —
О, слишком крепкими мы связаны цепями!
Тебя не трогает наш робкий, бедный стих, —
Что делать? Видишь сам: наш мир угрюм и тесен,

Не требуй же от нас могучих, вольных песен, –
Они – не для тебя, ты недостоин их!
Теперь расстанемся... Но, кажется, с дороги
Я сбился и зашел Бог весть куда. Сейчас
Я кончу. Вот – вся мысль поэмы. В эпилоге
Я повторяю то, чем начал мой рассказ.

ХІ. Поэзия будничной жизни

Где два, три дерева, там – целый мир пред нами,
Там всей природы жизнь, там вся ее краса,
И бесконечные синеют небеса,
Сквозя меж темными, поникшими ветвями, –
Так двух иль трех людей довольно, чтоб порой,
В житейской пошлости великое, святое, –
Что есть у всех, – любовь просветом в мир иной
Сияла, вечная, как небо голубое!

20 ноября 1890 г. Goşgular